

УДК 785:929 Цой В.
ББК 85.318(2)6-8 Цой В.
А36

Айзеншпис, Юрий Шмилевич.
А36 Цой. Мы ждем перемен / Юрий Айзеншпис. — Москва : Алгоритм, 2021. — 352 с. — (Главная кинопремьера года).

ISBN 978-5-907120-90-7

К премьере нового фильма А. Учителя «Цой».

Знаменитый музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис рассказывает, как с его легкой руки на музыкальном небосклоне России ярко засияла звезда Виктора Цоя, человека, ставшего символом свободы для многих поколений. О том, как происходило становление личности певца, а также о подробностях его трагической смерти рассказывает автор этой книги.

УДК 785:929 Цой В.
ББК 85.318(2)6-8 Цой В.

ISBN 978-5-907120-90-7

© Ю. Айзеншпис, 2021
© ООО «Агентство Алгоритм», 2021

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вечером 28 июня 2003 года у меня неожиданно разболелось сердце. Ну посидели с друзьями в хорошем ресторане, ну выпили с аппетитом... Но все прилично, в меру. Или у меня с собственным сердцем разные представления о «мере»?

А вообще-то досадно, что за мелкие удовольствия приходится платить чем-то большим, чем деньги. Например, болью. Во взаимоотношениях с ней я уже опытный, знаю ее привычки. Иногда она приходит неожиданно, а вот сейчас благородно предупредила заранее. Сначала тихо постукалась, потом затарабанила все сильнее, а затем просто ломиться начала:

— Эй, есть кто живой? Открывай!

Бороться с болью одному и даже вместе с лекарствами я не чувствовал сил и вызвал врача. Милая девушка что-то измерила, чем-то уколола, зачем-то покачала головой и посоветовала: «А теперь постарайтесь уснуть. И вести более спокойную жизнь, а то никакого сердца на этот темп не хватит!». Я пообещал, хотя заранее знал, что обману: более спокойная жизнь не для меня. И это не поза, не бравада. Просто более спокойная жизнь называется «существование» и для меня неприемлема. С тем же успехом врач могла порекомендовать меньше дышать. Меня держит драйв происходящего, движение и скорость. Мне кажется, стоит лишь остановиться, как я умру... Поэтому я всегда иду вперед. Всегда стараюсь обогнать самого себя...

Ладно, попробую соблюсти первый совет врача — уснуть. Но и это непросто. На улице уныло льет дождь, от порывов ветра вязко шуршат листья, и даже пластиковые окна не полностью заглушают эти звуки, более приличествующие осени, а не июню. И может быть, кому-то под шум дождя хорошо и сладко спится, но я не из их числа. Какое холодное, унылое лето — его так долго ждешь, а оно... Мне, любителю ярких и сочных красок, солнца и цветов, оно навевает уныние и приносит хандру. И хотя сердце слегка отпустило, но та наша эфемерная часть, которую обычно называют душой, продолжала пребывать в беспокойстве. Не все гладко в последнее время, не все хорошо. Не особо ладятся съемки клипа Димы Билана на песню Крутого «Июньский дождь», никак не поставят визу в Великобританию. Забавно, и песня про дождь, и Лондон — столица дождей и туманов, и за окнами уже целый ливень. Почему-то в памяти всплыло холодное лето 53-го года, сначала одноименный фильм. Какие прекрасные артисты — Леонов, Папанов, как жаль, что их уже нет. А потом и сам 53-й год. Ровно пол века назад, а вроде и совсем недавно. А вроде и очень давно. Честно говоря, не помню, было ли лето того года действительно холодным, да и не погода являлась его главным отличием. Как-то утром мама подошла ко мне, еще спящему, потрепала по голове и очень трогательно, с огромной грустью повторила: «Сталин умер. Сталина больше нет». Я не мог осознать смерть, да и сейчас не могу. Столь же неосознанным был и образ «друга всех ребят». Как же мог умереть бессмертный? Парадокс не для детского ума. Но мама только плакала, и я заплакал тоже. А через неделю мы в школе уже разучивали песенку «на смерть вождя», быстро сварганенную кем-то из партийных поэтов, и вскоре на показательных выступлениях школьного хора я с приятелем солировал. В белой рубашечке, с черной траурной бабочкой весь прилизанный... От волнения на глазах десятков учеников и их родителей приятель забыл строчки куплета, и я один спасал ситуацию.

А вот лето 1964-го или, скорее, 65-го года. Путешествуя по всей Европе, в Москву заехал зажигательный песенный фестиваль «Катаджиро». Тото Кутуньо, Далида, Рита

Павоне — весь цвет итальянской эстрады ненадолго заглянул за железный занавес, чтобы дать единственный концерт в Зеленом театре в Парке Горького. И, конечно же, я находился в первых рядах зрителей, в своей самой яркой рубашке и модных солнцезащитных очках. Но лучше бы я захватил зонтик: в самый разгар концерта начался жуткий ливень. Все промокли мигом, но лишь единицы ушли с представления, наверное, случайные люди, ибо это было такое редкое, очень долгожданное событие. Его действительно ЖДАЛИ, этот кратковременный прорыв от «них» к «нам». Весь вымокший, я еще долго после концерта ходил по вечерней Москве. На моих глазах были слезы умиления, а может, как это часто сравнивается в песнях, просто капли дождя.

Примерно те же чувства я испытал в 1976 году, когда с группой заключенных прибыл в колонию-поселение в Печорском районе. Оставалась треть срока, и воля казалась такой близкой. Особенно вечером, когда, устроившись на свежеспиленном бревне перед стареньким телевизором, я смотрел выступление Клифа Ричарда в Москве. Плохой звук, скверное изображение, но как это опьяняло! Не хуже водки, которую вокруг глушили расконвоированные, отмечая новый этап в нашей эковской жизни. Ко мне же приблизилась не только свобода, но и та культура, которую я безумно любил. А потом я вернулся в свое новое жилье — большую брезентовую армейскую палатку, где пол был устлан «ковром» из окурков, где жужжали тысячи злющих комаров, а грязными сапогами прямо на моей подушке спал в дугу пьяный поселенец — сосед по шконке. Клиф Ричард, да и Москва сразу оказались на другой планете. Несколько минут я помялся, но усталость поборола брезгливость, и вскоре я провалился в глубокий сон...

А вот сейчас в большой удобной кровати, на белоснежном белье, я ворочаюсь и никак не могу заманить сон. Вдобавок неожиданно трезвонит телефон, а в трубке одни гудки. Хулиганят? Да вряд ли, наверное, номером ошиблись... Может, начать телефон отключать на ночь? Но, когда звонков мало, я начинаю волноваться: неужели я никому не нужен, хотя сами звонки не всегда несут добрые вести.

Лето 1990-го, поднимаю трубку, мертвый голос Наташи Разлоговой, второй жены Виктора Цоя: «У нас несчастье». Те несколько секунд, пока я не задал стандартный и дурацкий вопрос: «Что случилось?», я был готов к чему угодно, только не к гибели Виктора. Тем более после такого же звонка от Наташи месяцем раньше я узнал, что утонул сын хозяина рыбацкого хутора, и сейчас ожидал чего-то подобного — страшного, но не запредельного. Нет, Виктор не мог погибнуть так рано, так не вовремя! Оказалось, он все мог.

Я лежал и думал: какой долгий и извилистый, какой интересный путь. Словно в нем соединилась не одна жизнь, а несколько, словно не один человек шел по нему, а целая компания. А что, если? Может, не такая уж бредовая идея моего знакомого Львовича Кирилла написать книгу о моей жизни. Интересный композитор, поэт, писатель — он предложил помочь мне в этом весьма незнакомом для меня деле. Всерьез я это предложение не воспринял, авантюризм чистый воды, а сейчас вот думаю: а почему бы и нет? Ну действительно, почему бы не написать книгу о моей жизни?

...И мы сделали это, и книга теперь перед вами. И если какой-нибудь досужий критик из тех, которые всегда вокруг как пчелы крутятся, язвительно спросит: «А для кого она написана?», — отвечать не буду. Или отвечу так:

«Прежде всего для себя, чтобы еще раз все вспомнить и расставить по местам. Потом — для родных и близких. Для друзей, которые мне помогали, чтобы сказать им спасибо. И для врагов, чтобы знали: я ничего не забыл. И, наконец, для всех остальных, которым известна фамилия Айзеншпис, но которые совершенно не знают, кто он. Бизнесмен, певец, продюсер, уголовный авторитет? Нет, Айзеншпис — это я, и это моя книга».

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ЖИЗНИ

Мои родители

7.07.2003

Погода первой недели июля определенно в лучшую сторону отличалась от всего прошлого месяца: чаще светило солнце, чаще температура поднималась выше 25 градусов, чаще хотелось жить. Впрочем, потом снова начался дождь, и Москва превращалась в парилку. Дел было немного, а делать их хотелось еще меньше, и иногда в мыслях я возвращался к своему желанию написать автобиографию. Подчас это казалось ерундистикой, подчас — аферой, а иногда и вполне осмысленным мероприятием. Иногда я думал: я ведь еще полон сил и планов, не рано ли начинать подводить итоги?.. Как бы не сглазить! Но через минуту вспоминал, что в приметы не верю, и на ум приходило совсем другое:

— А когда же писать, если не сейчас? Пока ты интересен, пока твое имя на слуху, пока активно живешь и работаешь! А лет через десять, даст бог, можно будет и продолжение написать! Поэтому так я напишу в самом последнем предложении: «Расстаюсь, но не прощаюсь!».

Итак, завершающая строчка уже есть, а это уже полдела. С этой воодушевляющей мыслью я включил компьютер, открыл *вордовский* документ и напечатал название: «Без тормозов». Или лучше «Полный вперед»? Или совместить оба? Или как-то иначе, ведь название должно быть максимально привлекающим.

Ладно, над названием подумаю позже, не самое это важное. А пока постараюсь вернуться в самое далекое прошлое, доступное моей памяти. Вот оно, совсем близко! Удивительно, но с годами начинает казаться, что вижу его ярче и подробнее. Всплывают забытые имена, звуки,

вспоминаешь, кто и во что был одет, какие слова говорил. А может, это как в музыке: яркое вступление не забывается и накладывает настроение на всю песню. Наверное, вступление действительно было ярким, ибо научило меня радоваться жизни. Хотя сама жизнь не всегда была такой уж радостной.

Моя мама, Мария Михайловна, родом из Белоруссии, или Беларуси, как сейчас ее самостийно называют. Она рано потеряла родителей и воспитывалась у дальних родственников в деревне Старые Громыки, рядом с городом Речице Гомельской области. Любопытно, что там же родился Андрей Андреевич Громыко, будущий министр иностранных дел и Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Даже переименовывать деревеньку в его честь не пришлось. Уж не знаю, откуда такое совпадение, может, бывшее фамильное владение? Недавно я где-то прочел, что «малую родину своего отца посетил Анатолий Громыко — сын Андрея Андреевича...». Прочел и загрустил. Увы, сам я туда так и не доехал, хотя несколько раз порывался, хотя бывал совсем рядом. Однажды после «Славянского базара» уже почти отправился туда, но важные дела вызвали в Москву. А с другой стороны, что там делать? Лишь вспоминать и печалиться.

Старший брат будущего «видного деятеля КПСС» преподавал какие-то предметы в той самой школе, где училась мама. По ее отзывам, милый, скромный человек, прекрасный педагог. Уже после войны матушка несколько раз с ним виделась, когда приезжала навестить оставшихся в живых родственников. Учитель угощал ее крепким чаем с вареньем и вел долгие разговоры «за жизнь».

Школу мама окончила на «отлично», может даже с медалью — не помню точно, и сразу же поехала в Минск, где поступила на государственный факультет журналистики местного Университета. Студенческие годы пролетели весело и быстро, и вот пришла пора получать диплом. Как раз накануне 22 июня 1941 года.

Не знаю, как сейчас, но в предвоенные годы большинство минчан отличалось особой любовью к городским паркам. Особенно к «Парку имени Горького», называвшемуся

тогда сад «Профинтерн», и парк «Челюскинцев», который располагался у самой черты города. В саду «Профинтерн» стояли незатейливые, но веселые аттракционы — разнообразные качели-карусели, тир, комната смеха с кривыми зеркалами... Танцплощадка и небольшое кафе. Летом любимым развлечением отдыхающих было катание на лодочках по Свислочи, достаточно широкой и очень чистой и прозрачной реке. В ней и рыбу ловили, и белье стирали, и купались. Именно там, неторопливо скользя по спокойной вечерней воде, мама и десятки других выпускников университета отмечали радостное событие получения дипломов, строили грандиозные планы на будущее. Может, и пиво-вино пилось, а почему бы и нет? Что тут плохого, если позади столько лет напряженной работы, а впереди та самая бесконечная даль, которая почти физиологически ощущалась в последние предвоенные годы. На 22 июня планировалось открытие «Комсомольского озера», котлован которого копали всем миром, и мама с друзьями собиралась продолжить праздник там. Но человек предполагает, а небеса...

Неожиданно, непонятно, невероятно — множество самолетов со страшным гулом протаранили темное небо. Казалось, оно сорвалось и плашмя падает на голову, казалось, наступает конец света, апокалипсис... И эти образы оказались недалеко от истины: так начиналась война.

В ее первые дни на территории Белоруссии все развивалось стремительно и смертельно, ведь именно туда пришелся первый немецкий удар. Население пребывало в шоке, но никто не сомневался, что война продлится пару недель, от силы — месяц. И закончится нашей уверенной победой. И все ошибались. Бомбежки начались на третий день войны, на шестой — немцы взяли Минск, а за неделю — всю Западную Белоруссию. Практически молниеносное наступление врага привело к тому, что миллионы людей оказались на оккупированной территории. Не всем им удалось выжить, но и «выжить» не означало окончания горя и мытарств. Кого-то записали в предатели и отправили в сталинские лагеря, кого-то выслали в далекие, негостеприимные земли, а оставшихся просто отказывались брать на нормальную работу за положительный ответ на

вопрос кадровых анкет «Были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории?». Исчез этот вопрос только в 1992-м.

23 или 24 июня мама бежала к близким знакомым в городок Речица. Расположенный в самой глубинке республики, он в первые недели войны продолжал вести привычную и размеренную провинциальную жизнь. Правда, сразу же сформировали истребительный батальон, затем народное ополчение, готовился к боям Речицкий партизанский отряд. Но в целом население находилось под воздействием официальной успокаивающей пропаганды и не подозревало о размерах надвигающейся катастрофы. Далеко не все собирались в эвакуацию. В июле — августе 1941 года Речица пережила три так называемых «паники», когда распространялся слух, что немцы прорвали фронт и вот-вот войдут в город. Люди срывались с мест, укладывали нехитрые пожитки, брали детей и покидали городок. Шли пешком, ехали на телегах и на автомобилях, по железной дороге, плыли на баржах вниз по Днепру. Потом, когда слухи не подтверждались, дойдя до Паричей, Гомеля или Лоева, многие возвращались обратно.

Мама рассказывала, как незадолго до оккупации к ним домой приходила председатель горкома союза работников просвещения Сара Рабинович и настойчиво уговаривала уезжать, ибо в первую очередь будут отстреливать именно евреев. Впрочем, не все так думали. По Тюремной улице жил бывший нэпман Гуревич, явно недолюбливавший советскую власть, но слывший человеком грамотным и рассудительным. На вопрос, стоит ли оставаться в оккупации, Гуревич отвечал, что немцы — люди цивилизованные и бояться их нашествия нечего. В империалистическую и гражданскую войны они, мол, всячески поддерживали порядок, защищали мирное население от погромов, а если что-то и брали, то за плату. «Кто тогда больше всех грабил и убивал?», — риторически спрашивал Гуревич и сам же отвечал: «Бандиты, булаховцы, националисты». Умный Гуревич, увы, не преуспел в своих оптимистических прогнозах. Реальность оказалась гораздо хуже самых плохих ожиданий, гораздо страшнее.

Евреи

Я — еврей. Моя мама еврейка, и папа той же национальности. И что из этого? Ровным счетом ничего. Я не чту иудаизм, не знаю его традиций и не интересуюсь его историей. Я не считаю евреев ни самым умным, ни самым гонимым, ни вообще каким-то исключительным народом. Принцип индивидуализма, давно исповедуемый мной, требует непосредственной оценки человека безо всяких сносок на национальную, половую или какую-либо иную принадлежность

Говорят, евреев в России всегда притесняли. Не знаю, не уверен. Во всяком случае, как мою семью обошли стороной сталинские репрессии, так и меня совершенно не затронул антисемитизм. Да, где-то это наверняка практиковалось, и друзья родителей, приходя к нам, иногда употребляли это слово вкупе с «дискриминацией». Говорили, что с «пятым пунктом» биографии нельзя работать в КГБ, не дают поступать в «сильно» научные вузы и продвигаться по партийной линии. Может быть, и так, но я туда и не лез. Зато ни в школе, ни дальше по жизни я не слышал обидных слов типа «жид» или «жидовская морда», брошенных ни в лицо, ни в спину. А услышал бы — дал бы по поганому рту. Не зря же моя фамилия переводится с иврита как «железный конец»! И иногда, когда мне приходилось особенно тяжело, я вспоминал этот дословный перевод фамилии и заставлял себя соответствовать ей. Воспитывал в себе терпение и стойкость к обиде и к боли, к несправедливости и хамству, и это мне очень помогло.

Когда я начал осознавать себя евреем, гораздо сильнее всяких национальных ген в крови сидело ощущение многонациональности и равенства всех народов, ощущение дружной советской семьи. Конечно, еврейская нация великая — одних продюсеров сколько, а уж о банкирах, артистах и ученых я помолчу. Но когда я ходил в синагогу с отцом, посещал Израиль как турист, ничего внутри не дрогнуло. Ничего. Поэтому я никогда не говорю «наша» нация. Я — сам за себя.

Речицу оккупировали 21 августа 1941 года, и сразу начались повальные обыски и аресты. Прежде всего именно евреев, которых насчитывалось свыше четверти населения. Тогда еще их поголовно не расстреливали, а угоняли в оперативно понастроенные гетто. А вот оттуда больным и отощавшим, окруженным колючей проволокой под напряжением, злобными овчарками и охранниками — еще более злобными собаками, выйти на волю не удалось почти никому. Официально решение о тотальном уничтожении евреев было принято на Ванзейской конференции в январе 1942 года, тогда и задымили трубы концлагерей.

Уже после войны мамина подруга, которая оставалась в оккупированном Минске, рассказала удивительную историю о еврейке Розе и ее русском муже. Когда пришли немцы, Роза пропала. Соседи были уверены, что ее забрали в гетто. Правду же узнали лишь 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска, когда из погреба вышла седая, очень бледная Роза. Всю войну она провела там, а ее муж, храня их общую тайну, носил ей еду.

Обыски и аресты в Речице продолжались несколько дней, с немецкой педантичностью прочесывался каждый дом, каждый сарай. Мама от обысков спряталась в скирдах соломы на чердаке, фрицы ходили практически по ее ногам, сделали даже пару выстрелов в стог, но ворошить его поленились. И той же ночью мама с группой друзей решила бежать к партизанам. Мужественная, спортивная, имеющая высокие разряды по волейболу и легкой атлетике, она той же ночью сумела вырваться из окруженного врагами города. Из пяти бежавших это удалось только двоим... Я не знаю, как мама вышла на Речицкий партизанский отряд, но до конца сентября 1941 года она пробыла, а точнее, прослужила именно там. Писала листовки, вела партизанскую газету. При генеральном штабе вермахта тогда существовало специальное управление по пропаганде среди населения оккупированных территорий, направлявшее в Белоруссию агитационные материалы. Воевать с типографскими станками сложно и не особо перспективно, но написанные мамой и ей же от руки растиражированные партизанские листовки все-таки в известной степени противостояли продукции немецкой агитационной машины. Рука затекала, в

темной землянке почти ничего видно, но спина не разгибалась. Листовки мама разбрасывала в Речице, куда приходила под видом крестьянки, продающей молоко. И однажды, случайно или по предательской наводке, ее арестовали и доставили в местную комендатуру. Это могло закончиться очень плохо, но мама выпрыгнула из раскрытого окна и скрылась в небольшом леске. Ее портреты расклеили на всех столбах, обещая большое вознаграждение за «партизанку», поэтому больше в городе мама появляться не могла. Зато активно принимала участие в нескольких успешных диверсионных вылазках партизан, в том числе и в одном из первых подрывов немецкого эшелона с пушками и боеприпасами, бойко идущего «nach Ost».

Но против лома нет приема, и к середине осени партизанский отряд был рассеян превосходящими силами немцев на несколько маленьких групп. В одной из которых оказалась и мама. Из оккупированной Белоруссии она ушла практически с последней из отступающих частей регулярной Красной Армии. Я помню, как в послевоенные годы мама уверенно и метко стреляла в городских тирах, и не сомневаюсь, что не один фашист у нее на счету. Многочисленные медали и ордена — еще одно доказательство моему предположению. Мама до самой своей смерти поддерживала связь с однополчанами, встречаясь и в День Победы, и в другие праздники, и когда кто-то бывал проездом в Москве. Фронтовые друзья-приятели вспоминали войну и поминали ушедших друзей, иногда плакали, а иногда и смеялись... И на одной из таких встреч к маме подошел бывший сослуживец и подарил ей свою книгу. В качестве прототипа героини своей повести автор-фронтовик использовал образ мамы и ее военную судьбу. Эта книга долго хранилась у нас с авторским посвящением, а потом в связи с многочисленными переездами пропала. Жаль! Как она называется, кто ее написал? Стыдно, но я сейчас не могу восстановить в памяти эту деталь, а ведь это могло сейчас очень пригодиться. После 15-летнего возраста у меня вообще особо не нашлось времени подробно расспросить маму о ее военной жизни или хотя бы просто внимательно выслушать. Все куда-то спешил, куда-то убегал. А теперь, увы, поздно.

Впрочем, я точно знаю, что мои родители познакомились в 1944 году на Белорусском вокзале. Именно оттуда отправлялось на фронт большинство эшелонов с боевой техникой и личным составом. Туда же приходили и другие эшелоны — битком набитые ранеными, с покореженными танками и боевыми машинами. И среди этого столпотворения людей и техники отец разглядел маму. Предки отца жили в Испании, и в детстве я гордо всех уверял, что были они самые настоящие бесстрашные торрерос, наездники и покорители злобных быков. Сам же отец — Шмиль Моисеевич (моим же друзьям впоследствии известный как «дядя Миша») — родился в Польше, а перед самой войной бежал в Россию, прозорливо спасаясь от наступающего еврейского геноцида. Многие из подобных эмигрантов впоследствии попадали под жернова сталинских репрессий, но отцу повезло. Он вообще считал себя везунчиком: без ранений прошел всю войну, познакомился с такой прекрасной женщиной, как моя мама, имел хорошую и высокооплачиваемую работу. И разве что мои похождения... Ну да не будем забегать вперед.

Для моих родителей, как и для многих других, Белорусский вокзал стал символом любви и надежды. И когда на экраны вышел одноименный фильм, они его могли смотреть бесконечно, казалось, его сценарий написан практически по их жизни. И могли бесконечно слушать песню Окуджавы «10-й наш десантный батальон». Родители поклялись вместе дойти до Берлина, но эту клятву осуществил только отец. Ибо любовная страсть, «сделавшая» меня, заставила маму уехать рожать в далекую эвакуацию в Челябинск. Именно там 15 июля 1945 года появился на свет маленький Юра Айзеншпис.

Вперед, в столицу!

22.07.2003

Сегодня я включил, как обычно, телевизор, и приятная неожиданность — крутится на МузТВ клип Димы Билана на песню «Не надо плавить мои мозги». Да, не просто оказалось убедить их на ротацию, но я постарался. Естественно

но — без денег, я уже давно за эфиры не плачу. Как сама песня, как и сам Дима, клип получился нервный. Можно даже сказать, с острыми краями... Жалко, конечно, что «Руки вверх» по-свински украли нашу стилистику: та же агрессивная женщина-вамп в кожаном прикиде, тот же заброшенный завод как место съемок и даже те же декорации! Мы начинали снимать раньше, просто немного затянули с эфирами, точнее, нас немного затянули.

Но все равно у Димы более стильно получилось!

В общем, я доволен... Но удовольствие мое всегда длится очень недолго: очень быстро вспоминаю о несделанном, а если вдруг все сделано, то сразу строю новые планы. Чтобы не скучать, чтобы действовать. Но сегодня я точно знаю, чем займусь — я расскажу о первых годах моей жизни.

Нескольких месяцев от роду я переехал в Москву, где родители вместе начали трудиться в частях Главного управления аэродромного строительства, или сокращенно ГУАС. Вначале это было одно из подразделений в составе НКВД СССР, и основные работы велись силами заключенных, приговоренных к исправительно-трудовому «воспитанию» без содержания под стражей. Хотя встречались и строительные батальоны, и военнопленные, и даже колхозники, мобилизованные местными органами власти. Но в феврале 1946-го ГУАС передали вновь организованному Наркомату строительства предприятий тяжелой промышленности. Стройуправления передавали со всеми вольнонаемными рабочими, инженерно-техническим персоналом и служащими, а также оборудованием, транспортом, материалами, а вот заключенных и пленных НКВД оставляло себе. Акценты деятельности сдвинулись на мирное строительство и восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Одним из первых московских объектов «управления» стал институт МЭИ. Его решили основательно реконструировать, возвести много новых учебных корпусов — в общем, превратить в один из крупнейших вузов страны. Именно там находилась первая моя «московская квартира», в общежитии на Красноказарменной улице, 14, в здании, где сейчас находится музей истории института.

А тогда... Жилищные условия, как и практически везде по стране: перенаселенность, шум, недостаток бытовых удобств, но ведь и запросы сохранялись весьма незначительные: крыша над головой, свет, тепло, элементарная пища. И отсутствие войны, бомбежек, расстрелов. А еще — колоссальный энтузиазм и вера в светлое будущее. Впрочем, все это скорее относилось к ощущениям родителей — лично я еще мало что соображал.

А вокруг, на территории в несколько квадратных километров, ударными темпами возводились бараки. Тысячи и тысячи, преимущественно деревянных и одноэтажных. Никто не сомневался, что это лишь временное жилье, хотя для многих жизнь в этих весьма сомнительных условиях растянулась на многие-многие годы. Но тогда и это жилье являлось существенным прогрессом по сравнению с ужасной теснотой общежития, мощным движением вперед. Вдобавок люди въезжали в новые постройки, а в гнилые и осевшие халупы они превратились еще не скоро. Я же, совсем еще малявка, тоже осваивал новую территорию. Что-то загадочное и влекущее присутствовало в больших чуланах, гулких коридорах, огромных печках, заросших палисадниках... Я любил исследовать эти дальние закоулки: сердце замирало, когда спускался на несколько ступенек вниз в темноту подвала и прислушивался. Из глубины раздавались какие-то звуки и шорохи, я пугался и стрелой улетал к свету. Там что-то жило, в этой темноте!

Тех бараков уже и не сохранилось в Москве — и слава богу! А может, стоило оставить изнеженным потомкам хотя бы один из них, превратить в музей неприкрашенной истории той жизни, наполнить незамысловатой атрибутикой первых послевоенных лет. Ведь для большинства людей моего поколения эти неказистые строения остались символом давно ушедшего детства, ушедших друзей и ушедших родителей. А значит, объектом ностальгии. И романтики.

Именно из барака я пошел в свой первый детский садик, оттуда же отправился и в первый класс школы.

— Вот, это твои новые друзья, — сказала мама, показывая на слегка испуганных ребятишек моего возраста.